

наш
XX
век

БОРИС ДМИТРИЕВИЧ

ШАНЖИИ

★
ПРЕСЛОВУТАЯ ЭПОХА
В ЛИЦАХ И МАСКАХ,
В СОБЫТИЯХ И КАЗУСАХ

Наш XX век

Борис Панкин

**Пресловутая эпоха в лицах и
масках, событиях и казусах**

«Центрполиграф»

2017

УДК 929
ББК 63.3-8

Панкин Б. Д.

Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах /
Б. Д. Панкин — «Центрполиграф», 2017 — (Наш XX век)

ISBN 978-5-227-06610-7

Автор книги «Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах» – бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда», бывший председатель ВААП, бывший министр иностранных дел СССР Борис Панкин. Перед читателем проходит целая галерея образов людей неординарных: Хрущев и Брежнев, Горбачев и Ельцин, Улоф Пальме и Маргарет Тэтчер, Юрий Гагарин и Астрид Линдгрэн и многие, многие другие, с которыми автору довелось встречаться на протяжении жизни. Живой и увлекательный рассказ о них составляет канву мемуаров, на страницах которых эти люди предстают в новом, подчас неожиданном ракурсе.

УДК 929
ББК 63.3-8

ISBN 978-5-227-06610-7

© Панкин Б. Д., 2017
© Центрполиграф, 2017

Содержание

Пролог	6
Часть первая	11
Дядя Вася и юный тимуровец	11
Тетка Маша, или Бабушкино заклятие	13
Задача по математике	18
Отец и списанный мотор	21
Снова и снова «кавалер»	23
Хохловка – это где?	26
«Наши женщины должны одеваться как княгини...»	28
«Открытое письмо Борису Панкину» и «правда о понизовском»	30
Лес рубят – щепки летят	34
Двое из «комсомолки»	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Борис Панкин
Пресловутая эпоха в лицах и
масках, событиях и казусах

© Б. Н. Панкин, 2017

© «Центрполиграф», 2017 ©

* * *

Пролог

Вслед за устным приглашением выступить перед профессорами и студентами Высшей школы бизнеса в Манчестере в цикле встреч под общим названием «Секрет успеха» пришло письмо.

«Дорогой посол, – обращался ко мне советник британского Министерства торговли и индустрии Кестер Джорж со всей свойственной воспитанным англичанам предупредительностью, – я посылаю Вам проект моего вступительного слова. Если Вы найдете необходимым убрать какие-то пассажи, пожалуйста, скажите мне об этом. Моя единственная цель – дать Вам возможность представить себя как можно полнее». Далее следовал сам текст этого вступительного слова, который я привожу в своем переводе с английского, не изменив в нем ни единого слова.

«Борис Дмитриевич Панкин вырос в времена Сталина. Двадцать лет он трудился как журналист при Хрущеве и Брежневе. А затем стал советским послом в Швеции и Чехословакии, министром иностранных дел Советского Союза и послом России в Англии. Его первая любовь, судя по всему, – писать, но до сих пор его произведения доступны только знающим русский и шведский, что является пока препятствием для его потенциальных читателей в нашей стране.

Вскоре после того, как он родился в столице Киргизии, которая теперь называется Бишкек, его родители двинулись в Москву. Это было время, когда Сталин только еще затевал охоту на своих соперников, начав с убийства Кирова в декабре 1934 года. Панкин не достиг еще и десяти лет, когда Сталин устроил суд и казнил Бухарина, когда Берия появился в НКВД на смену Ежову, а Троцкий был убит в Мехико. Когда нацистские армии стояли на подступах к Москве.

Будем надеяться, что он расскажет нам о том, что он помнит о тех годах, полных страха и лишений. Как немного позднее воспринял он победы Красной армии под Сталинградом и Курском? Почему, окончив филологический факультет Московского университета в год смерти Сталина, он стал журналистом? Был ли это его выбор? Было ли у него в ту пору намерение стать участником «крестовых походов» коммунизма или уже тогда он думал об исправлении системы, в тисках которой рос и развивался?

Его годы в должности главного редактора «Комсомольской правды» совпадают с зенитом правления Брежнева, который умер в 1982 году. Эта пора, отмеченная жестким цензурным гнетом, не очень-то благоприятствовала успехам в журналистике. Насколько свободен был Панкин писать то, что ему хотелось бы, когда Брежнев был услужливо награжден Ленинской премией в области литературы?

Последние годы правления Брежнева Панкин был председателем Национального агентства по авторским правам. Почему он согласился на эту работу? Был ли он обязан препятствовать всему в литературе и искусстве, что не совпадало с партийной линией, как это нам представлялось? Или было тут что-то такое, чего мы не понимаем и о чем не догадываемся? Что могла эта деятельность дать ему позднее, на дипломатической работе?

Он начал ее послом Советского Союза в Швеции в 1982 году. В принципе, это можно рассматривать как награду, потому что Швеция представляла тогда немалый интерес для его страны.

И можно догадываться, что, работая в этой стране просвещенного капитализма, посол Панкин, представлявший СССР Андропова, Черненко и Горбачева, имел немало поводов задуматься относительно перспектив коммунистической системы в его стране. Насколько мы знаем, он любил эту свою работу и добился нешуточных успехов на своем первом дипломатическом посту. Как все это выглядит теперь?

Из Стокгольма он переместился в 1990 году в Прагу, сразу после «бархатной революции» в Чехословакии. В ту пору Коммунистическая партия Советского Союза отказалась от своей роли гегемона, и Горбачев был выбран президентом Советского Союза. А вслед за ним, в июне 1991 года, и Борис Ельцин – президентом РСФСР. Три месяца спустя вспыхнул и был подавлен антидемократический путч в Москве, дни и часы, которые, возможно, были звездными не только для Ельцина, но и для Панкина. Согласен ли он с этим? Затем последовал вызов в Москву и назначение министром иностранных дел, пост, который в представлении Запада ассоциируется с такими господами, как Молотов и Громыко. К тому же и Советский Союз был уже в агонии, и мало что можно было сделать в его положении министра.

Каковы ощущения Панкина? Были ли эти неистовые три месяца, отделявшие страну от распада, сплошным кошмаром тогдашних актеров политической сцены или они принесли успех тем, кто видел новые пути развития страны?

Наконец, Борис прибыл в Лондон послом президента Ельцина и довольно успешно обосновался здесь, хотя представлять Россию в столь сложный переходный период, переживаемый ею, не так-то легко.

Как видит он будущее страны с ее больным президентом, деятелями типа Руцкого и Хасбулатова, только что выпущенными из узилища, и истеричным Жириновским, которому претит все цивилизованное в этом мире?»

Советник Джорж чуть-чуть запоздал со своими заметками. Мое выступление было к тому времени в основном готово. И оставалось только удивляться тому, как мало мне захотелось в нем изменить. Ответы появились на свет раньше вопросов. Вот текст той лекции, с которой я выступил в мае 1994 года в Манчестере.

– Тема дискуссии – секрет успеха. Могу ли я утверждать, что я его достиг? Да и в том, что сказал сегодня, представляя меня, уважаемый Кестер Джорж, мне слышится произнесенное: «Борис, как ты выжил? How have you survived?»

Но я согласен. Давайте говорить не о секрете успеха, а об искусстве выживания. И подумал – одно ли и то же значение мы вкладываем в это слово – «выживание».

Вы, конечно, помните великого американского борца против расизма, который начал свою речь словами: «У меня есть мечта!» (I have a dream!)

Может быть, вам, живущим в нормальных условиях, без бесконечных экономических и политических катаклизмов, без необходимости ежедневно, если не ежечасно, делать выбор, нередко между честью и бесчестьем, между жизнью и смертью, быть может, вам трудно будет понять мою мечту. Она в том, чтобы и моя страна смогла бы наконец жить без кровавых революций и социальных катастроф. Чтобы люди жили в условиях, достойных человека, чтобы они научились терпимо относиться ко взглядам друг друга, отказались бы от экстремизма и вырабатывали наконец такую модель политического и экономического развития, которую поддерживало бы большинство населения. Другими словами, я мечтаю о том, чтобы людям моей страны не нужно бы было искусство выживания.

Позвольте теперь обратиться к моему собственному жизненному опыту, рассказать вам об истории моей семьи, чтобы вам легче было понять, что я имею в виду.

Мой отец родом с Волги, из крестьянской семьи, которую до революции называли хорошими хозяевами, а после революции, в 30-х годах, зачислили в кулаки. Деда сослали на Северный Урал, и отец, которому уже было под тридцать, в поисках спасения отправился скитаться по стране и вскоре оказался в Киргизии. Мать родилась на Урале, в Оренбурге, в семье купца первой гильдии. Их «потрясли» еще раньше, и, не дожидаясь худшего, они тоже всем семейством отправились на Восток, в Среднюю Азию, где в столице тогдашней Киргизской ССР, которая называлась Фрунзе, мама и встретила своего будущего мужа, моего отца.

Хороша была Октябрьская революция с ее советской властью или плоха, не будь ее, мои родители, крестьянин с Волги и купеческая дочь с Урала, конечно же никогда бы не встретились и я, в моем нынешнем образе, никогда бы не появился на свет.

И то же самое могут сказать о себе миллионы людей.

Так проклинать или благословлять мы должны эту революцию? Знай я о всех преступлениях, которые уже совершила и готовилась еще совершить эта власть, и имей я право выбора, я бы, может быть, предпочел бы вообще не родиться, что, увы, ничего бы не изменило в этом мире. Надеюсь, однако, что эта антиномия поможет вам понять то восприятие мира, с которым мы росли.

Коммунистические идеи, которые господствовали в нашей стране более 70 лет, были чем-то вроде религии в других частях мира. И после того как советский режим рухнул, это стало еще более очевидным.

Не правда ли, человек не рождается ни христианином, ни мусульманином, ни приверженцем иудаизма или буддизма. В 99 процентах это зависит, особенно в ранние года, от того, в какой стране и какой семье он появился на свет. Да и позднее не столь уж многие меняют радикально свои верования, то есть переходят в другую конфессию, становятся атеистами или, наоборот, порывают с безбожием. Особенно в странах, где продолжительное время не случаются политические катаклизмы и социальные потрясения. Кстати, таким обманчивым спокойствием были отмечены и некоторые периоды жизни в моей стране, сначала после того, как Хрущев разоблачил Сталина и сталинизм и наступила «оттепель». Потом – когда под предлогом дальнейшего улучшения жизни Брежнев сместил Хрущева и объявил своей целью установление гражданской стабильности.

Многие люди и не подозревали, что такое стремление к стабильности является на самом деле не чем иным, как медленным скольжением к пропасти.

Мы рождались и росли, даже в таких семьях, как моя, а их было множество, с почти автоматическим признанием всего того, что нас окружало, в качестве нормы.

Когда я был пионером, я слышал от своей бабушки по отцовской линии, что Сталин был аспид и изверг, и она не боялась говорить это даже в годы Великой Отечественной войны. Зато отец мой, который вступил в партию в 1927 году, чуть ли не до последних дней своих, а он умер в 99 лет, был убежденным коммунистом, несмотря на крайне критическое отношение ко многим сторонам нашей жизни. Войну он отрубил от звонка до звонка. С первого ее дня до последнего. И не был даже ранен ни разу. Выжил, другими словами. Символ диссидентства Александр Солженицын признавался, что, когда в 1944 году в письмах другу поносил Сталина, за что и попал в ГУЛАГ, он свои надежды на будущее связывал с ленинским типом политика.

Отец советской водородной бомбы Андрей Сахаров, еще один символ сопротивления режиму, «прозрел» еще позже, в конце 60-х годов, когда он уже ходил в трижды Героях Социалистического Труда и был отмечен всеми существующими правительственными наградами. Для подавляющего большинства людей согласие или протест против тех или иных аспектов тогдашних порядков были двумя сторонами одной медали – поведения законопослушного, но рачительного и даже придиричливого гражданина своей страны.

Недовольство, остающееся в рамках легальности, характеризовало все слои общества. Не будь его, Горбачев не смог бы начать перестройку. Стоит напомнить в связи с этим, что и Горбачев, и Ельцин «достигли высшей власти» и в государстве, и партии еще при Брежнев, играя по всем правилам того режима, частью которого они были.

Да и Хрущев стал Хрущевым при Сталине. И вообще, какой период советской власти вы ни возьмете, вы увидите, что радикальные изменения всегда инициировались сверху, будь то к добру или к беде. Вы можете спросить: а как насчет диссидентов, открытых бунтарей и эмигрантов?

Такие люди, как Солженицын, Сахаров или Лариса Богораз, которая вышла с единомышленниками на Красную площадь протестовать против интервенции стран Варшавского договора в Чехословакию, достойны самого высокого уважения. Им можно только поклониться. Но ожидать и тем более требовать, чтобы все вели себя точно так, значило бы повторять популярный лозунг большевиков: «Кто не с нами, тот против нас».

Они практиковали этот принцип, сначала уничтожая партию за партией, один нерабочий класс за другим, а там и своих собственных соратников и в конечном счете самих себя.

Лев Гумилев, сын двух великих русских поэтов, Николая Гумилева, который был расстрелян во время Гражданской войны, и Анны Ахматовой, ставшей жертвой политических проработок после окончания Второй мировой войны, сам много лет проведенный в лагерях, обосновал теорию, согласно которой в каждом народе и каждом поколении обнаруживается не больше десяти процентов людей, для кого верность своим убеждениям и готовность стоять за них до конца значит больше, чем благополучие и сама жизнь.

Именно из них выходят революционеры и лидеры, диссиденты и протестанты, великие посвященные и великие отступники – в политике, религии, культуре...

Когда число пассионариев, как он назвал их, достигает в обществе критической величины, совершаются великие открытия, происходят революции, великие ереси становятся общепризнанными доктринами, происходит возрождение в науках, искусствах и ремеслах...

Бывает, что человек не всегда и не сразу осознает свою принадлежность к этим десяти процентам. К этому его приводят как внутренние бури, так и внешние обстоятельства. Мне кажется, что мы с моим другом и помощником Александром Лебедевым, послом СССР в Праге и советником-посланником, а вместе с нами и наши жены перешагнули эту границу в августе 1991 года, когда воспротивились антидемократическому путчу.

Выступив с публичным заявлением по этому поводу, мы готовы были к любым последствиям. Я рассматривал свою миссию в Праге как искупление вины за интервенцию 1968 года и ни минуты не колебался перед тем, как предать наше заявление гласности. Первые слова поддержки я услышал от лидера Пражской весны Александра Дубчека и президента новой Чехословакии Вацлава Гавела.

Но мне кажется, что этот поворотный пункт моей жизни был подготовлен всем моим прошлым, которое включало в себя всю ту мою деятельность и все те посты, которые сегодня уже были упомянуты. Я конфронтировал с системой, находясь внутри ее, используя легальные методы и до поры не отдавая себе отчета в том, что моя деятельность способствует подрыву режима.

Когда я был главным редактором «Комсомольской правды», мы каждый день печатали статьи, в том числе и за моей подписью, которые приводили начальство в ярость. Цензура была всесильна, но она часто спохватывалась лишь тогда, когда номер был уже в руках читателей и подписчиков.

Меня постоянно вызывали то в партийный, то в комсомольский ЦК для вливаний. До поры выручало то, что Брежнев был нетороплив в решениях и не хотел прослыть обскурантом. Мое назначение председателем Всесоюзного агентства по авторским правам многих привело в недоумение. Мои доброжелатели мне сочувствовали. Присоединение Советского Союза к международным конвенциям по авторским правам накануне Хельсинкского совещания было в принципе делом прогрессивным. Но произошло оно под давлением Запада, прежде всего Соединенных Штатов. Уступив, советское руководство, как это водилось, захотело тут же и отыграться, сделать из вновь созданного ВААП еще одну цензурную заглушку. И все это – руками человека с репутацией у властей вольнодумца.

Со ссылками на международное законодательство, которое, мол, надо уважать, мы в Агентстве, наоборот, открыли шлюзы, и неугодные «твердолобым» труды хлынули с востока на запад, с запада на восток.

Василий Аксенов злословил: «К моим писаниям относятся, как к черной икре. Дома их в продаже нет, а за границей – будьте любезны». Мое следующее назначение – послом в Стокгольм – снова стало загадкой. СМИ в Швеции, которую мы успели наводнить подозрительной с точки зрения партийного руководства, то есть на самом деле честной, хорошей литературой, спорили: повышение это для Панкина или почетная ссылка. Конечно, Швеция – не Сибирь. Совсем наоборот. Но здесь, как и во всем мире, уже хорошо знали манеру Брежнева сплавлять неугодных ему людей на дипломатическую работу, от греха подальше. Из Стокгольма я стал добиваться, чтобы мы открыли архивы по делу Рауля Валленберга. Еще до начала горбачевской перестройки я стал всеми правдами проталкивать социал-демократическую «шведскую модель», что при Горбачеве было поставлено мне уже не в минус, а в плюс.

Скорее всего, именно поэтому меня и назначили послом в Прагу. И тут не обошлось без мотто: к драматургу Гавелу Горбачев отправил литературного критика Панкина. Все это – лишь несколько примеров того, как я старался изменить систему, не выходя формально за ее легальные рамки. И так вели себя многие – те, кто инициировал перестройку вместе с Горбачевым и выступил против августовского путча вместе с Ельциным. Не приняв все это во внимание, невозможно понять, что же происходило последние десятилетия в Советском Союзе и происходит сейчас в России. Каким причудливым и капризным был и остается переход от тоталитарного режима к демократии. Что и говорить, в этих условиях людям приходилось идти на компромисс, порою и на сделки с собственной совестью. Что ж, как учил Иисус Христос: кто без греха, пусть первым бросит камень. Обо всем этом я попробовал рассказать в моей книге, посвященной последним ста дням Советского Союза, между прокоммунистическим путчем и «вечерей» в Беловежской Пуще. Сто дней, в течение которых я был министром иностранных дел.

Вначале я хотел назвать книгу «Сто дней и вся жизнь», но потом остановился на «Ста днях».

Что же касается «всей жизни», то я попытался сказать о ней сегодня.

... Меня слушали в интригующем молчании. Что в нем – интерес, одобрение, недоверие? Когда я умолк, поблагодарив за внимание, дружно и продолжительно хлопали.

Письмо Кестера Джоржа и мой ответ на него с тех пор всегда лежали на моем письменном столе и не давали покоя. До тех пор... До тех пор, пока я не написал эту книгу.

Часть первая

Дядя Вася и юный тимуровец

Война к нам, как и ко всем москвичам, пришла в 12 часов дня 22 июня 1941 года выступлением Молотова. Меня оно застало в комнате моего приятеля и соседа, десятилетнего, как и я, Юрки Бурлая. Когда из висевшей на стене черной картонной тарелки по имени «Рекорд» прозвучали последние слова Вячеслава Михайловича: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – мы в недоумении посмотрели друг на друга.

Нет, не о том, что много позднее стало притчей во языцех, – почему выступил Молотов, а не Сталин, – мы спрашивали друг друга взглядом. Мы не понимали и радовались: неужели же фашисты такие идиоты, что не соображают, что рабочий класс Германии немедленно восстанет против войны с Советским Союзом, а гитлеровские вояки сразу же начнут сдаваться в плен нашим красноармейцам.

Услышанное через несколько часов по тому же репродуктору сообщение, что один гитлеровский ас уже приземлился на своем то ли «мессершмитте», то ли на «фокке-вульфе» на одном из наших аэродромов, только укрепило уверенность в близости полного разгрома фашистов.

Пока же я устремился по длинному коридору нашего барака в Ново-Останкине, куда выходило сразу двадцать дверей, к себе в комнату, которая в обиходе называлась все же квартирой.

Отец был в командировке. Мать и гостившую у нас двоюродную сестру – приехала на пару недель из Ашхабада – я застал с пустыми продуктовыми сумками в руках.

– Бери, и пойдем, – сказала мне мама, протянув одну из них.

Мы поспешили в ближайший магазин, который называли «домовкой». Там уже стояла очередь...

Через пару-тройку дней очереди схлынули, правда ненадолго. Но мать и сестра, наверное предвидя, что скоро они снова появятся и уже навсегда, продолжали свои неутомимые хлопоты, выезжая почти каждый день на несколько часов в «город» – так мы, москвичи с останкинской окраины, называли центр столицы. Я под разными предложениями исхитрялся оставаться дома. Один из таких предлогов был более чем уважителен. Во дворе начали рыть бомбоубежище, в нашем случае именуемое «щели», и надо было, чтобы кто-то от каждой квартиры ежедневно участвовал в этой работе.

Так и случилось, что, когда появился дядя Вася, младший папин брат, который с женой и двумя дочками от этого своего второго брака жил под Москвой в Павловском Посаде, дома не было никого, кроме меня.

С дядей Васей мы были старыми знакомцами и, насколько это было возможно при двадцатилетней разнице в возрасте, даже друзьями. Когда отца после окончания Московского автодорожного института послали в Бурят-Монголию начальником рейсового гаража на строительстве дороги Улан-Удэ – Улан-Батор, дядя Вася работал у него шофером и иногда брал меня с собой в длинные рейсы между столицей республики и пограничным с Монголией городком Кяхта, где мы временно жили.

Когда мы все вернулись в Москву, он взял меня с собой в отпуск в Сердобск Пензенской области, откуда происходил весь отцовский корень, и мы там с ним бродили по лесу, ловили рыбку и в маленькой избушке на берегу Сердобы, где жили мои бабушка с дедушкой, слушали их рассказы о прежнем крестьянском житье-бытье. Теперь дядя Вася был в неопределенного цвета костюме, косоворотке и с вещевым мешком за плечами. Он, я почувствовал, был ужасно

огорчен, просто убит, когда обнаружил, что, кроме меня, никого нет дома. Он сбросил свой мешок с плеч, расстегнул пуговицу на вороте рубашки, сел на кушетку и закурил. Выяснилось, что времени у него в обрез, что через три часа он должен быть на сборном пункте, – мне уже знаком был этот термин, – что зашел попрощаться да вот...

Я сказал, что мама, может быть, еще успеет вернуться, а отца вообще нет в Москве. Он еще до начала войны уехал в командировку, куда точно – не знаю, и что-то вот задержался.

Не помню, убейте меня, о чем еще мы говорили с ним те полтора часа, которые он провел в нашей комнатухе, тесноты которой я тогда, кажется, совсем не ощущал, хотя за последние дни в ней стало еще теснее от массы закупленной продукции.

Помню только, что пили чай, который я подогрел в чайнике на общей для всех двадцати комнат кухне, и грызли бублики, которые были тогда непременной частью чаепития. Наконец, взглянув еще раз на часы, он поднялся и забросил на плечи свой дорожный мешок.

Мы вместе вышли из дома. По соседству с входом (подъездом это никому в голову не приходило называть) соседи, среди которых были и мои дружки, закладывали специально привезенным дерном крышу «щели». Дядя Вася молчал. Я же вдруг ощутил острую потребность что-то сказать ему на прощание. Ведь он, может быть, уже завтра-послезавтра будет на фронте.

Я даже знал приблизительно, что я должен был ему сказать. Я в мои десять лет был заядлым книголюбом. И конечно, гайдаровский Тимур был моим любимым героем. Я даже пытался уже организовать что-то вроде тимуровской команды у нас во дворе, но почему-то не получилось.

Итак, я ощущал необходимость что-то сказать дяде Васе в духе того, что Женя, подруга Тимура, говорила, провожая, своему военному отцу – человеку в длинном кожаном пальто и со шпалами в петлицах. Повторяю, я знал, что сказать, но почему-то слова не шли у меня с языка.

Все же я взял себя в руки и пробормотал что-то вроде того, что «бей врагов как можно больше...». Быть может, я пожелал ему быть героем?

Или обещал, что мы здесь в тылу будем выполнять свой долг? Быть может, я при этом даже посмотрел на крытую черным толем крышу нашего двухэтажного дома, куда мы с ребятами рвались по ночам при звуках воздушной тревоги вместо того, чтобы, как было велено, идти в бомбоубежище, то бишь в почти уже отстроенную «щель»? Может быть, не помню. Помню только, что он, как-то странно посмотрев на меня и выпростав свою правую ладонь из моей левой, сказал:

– Ну, я пошел... Передавай привет...

С ощущением человека, сделавшего что-то не то, я смотрел ему вслед, пока он не исчез за углом, и, словно желая искупить неведомую мне вину, я рванул к своим достраивать «щель».

Не помню, сколькими годами позже я добрался до третьего тома «Войны и мира» и прочитал с внутренним облегчением, что так же трудно и неловко было героически настроенному Пете Ростову в его шестнадцать лет выдать из себя слова «Когда отечество в опасности», требуя согласия родителей отпустить его в действующую армию.

Когда зимою того же года в Сердобск, куда нас с матерью и младшим братом отправил к своей родне отец, пришла похоронка – Панкин Василий Семенович, военный шофер, пал смертью храбрых при обороне Ленинграда на Ладого, я рыдал, кажется, не только от горя, но и от стыда. Наверное, с тех пор у меня и появилась аллергия к громким словам.

На ловца и зверь бежит. Когда эти строки были написаны, прочитал в давнем, но только в мае 1999 года опубликованном интервью Юрия Роста с Булатом Окуджавой: «Я не помню, чтобы простой народ уходил на фронт радостно... Война была абсолютно жесткой повинностью».

Тетка Маша, или Бабушкино заклятие

Тетка Маша – так в шабрах, в соседях то есть, звали мою бабушку, Марию Павловну, мать отца. Соседей в ту пору, о которой я хочу рассказать, у них с дядей Семеном, моим дедушкой, было раз-два да обчелся. Что взять с маленького хуторка в трех километрах – и все лесом от Сердобска, на берегу тихой, с плоскими камышовыми берегами в этом месте, реки Сердобы. Когда-то, до раскулачивания, были тут пасеки у крепких крестьян, чьи усадьбы, как они любили их называть, стояли в Пригородной слободе, под самым носом у города.

– Так, для баловства держали, – объясняла мне бабушка, как взрослому, – полдюжины уликов да землянку. А там вишь как обернулось, когда дедушку твою взяли, что было в подсобку, стало наиглавнеющим.

По тем ли, иным ли причинам, главное – укрыться бы от начальственных домогательств, собрались в этих местах глухой да губастый, как бабушка говорила со смехом, утирая платочком сложенный в розеточку рот. Вот диво – хоть и недалеко было от районного центра, но не трогали власти тех, кто здесь поселился. Две бабы-бобылихи, одна бывшая монашенка, тетя Поля, другая в прошлом – депутат сельсовета. Тетя Лена Ермакова.

Дядя Боря с сыновьями Петькой и Павликом, любитель порассуждать о злонамеренной политике Америки, или САСШ, как он называл ее. И вот еще Иван Михайлович Мордвин, который и будет вместе с бабушкой героем этого моего рассказа. Я тогда уже девятый класс закончил и приехал к старикам на каникулы. Свидетелем этой истории я не был, но бабушка так ее рассказывала, что, если бы и сам я все это видел и слышал, так ясно я бы ее не запомнил.

– Смотрю, сосед наш, из мордвинов, ходит по двору. С топором. Свят, свят!

– Ты чего, мол, Иван Михалыч, ходишь?

– Я, тетка Маша, твою кошку ищу. Она моих трусков поела.

– А ты-то почему же знаешь, миленький, что моя?

– Я знаю. К тебе на двор следы привели.

– Да что, у нее какие-нибудь особенные, что ли, следы-то. Да и не одна она тут. Ты вон поди послушай, как они ночью на потолке орут. Может, и твоя там надрывается.

– Твоя кошка, тетка Маша, твоя, – знай себе талдычит. – Представь ее мне, я ее враз зарублю.

– Как же, родимый, так я ее тебе и представила. Ты ее хоть в глаза-то видал? Знаешь, кака она – белая, черная, серая? Кака?

– Я видел, она летось вокруг моей избы ходила. Подавай, я ее убью...

С тем, правда, и ушел. А сам, оказывается, в сельсовет, с жалобой. А те Ленке поручили расследовать.

– Тете Лене Ермаковой, что ли? – спрашиваю.

– Ей, кому ж еще. Она ж у нас в епутатах ходила. Епутатка. Навязалась, прости господи, за поллитру. Кроме как лаяться, ничего более не может. А уж это-то... Уж она и в сердце, и в легкие, и в печенку, всюду насажает... Я, слышь ты, человек государственный. И вот, значит, идут. Впереди эта Елена преподобная с бумагой в руках, сзади – Иван Михайлович, уже с ружьем.

Ленка так это заходит в избу с бумагой, а сама уж глаза налила с утра пораньше, Мордвин, видать, поднес.

– Тетя Маша, я буду говорить, – это у нее такая присказка была: «Я буду говорить».

– Тетя Маша, тебе приказ вышел, я буду говорить. Первое предложение – твою кошку поймать и застрелить. Она у Иван Михалыча трусков поела.

Я, знамо дело, опять за свое.

– А ты как можешь говорить, что моя то кошка? А может, твоя? Ты к его двору-то поближе живешь.

Мордвин, тот знай свое бубнит:

– Я видел, к тебе следы привели.

Я ему снова про потолок да погребницу. Он матом ругаться. Побежал к себе на огороды – принес полтруска без головы. Вот, туды-растуды, какой твоя кошка беды наделала. Подавай, говорит, ее сюда. Я ее сказню.

А при мне тут Леша наш был. (Муж еще одной моей двоюродной сестры). Ну, моли бога, он тогда не очень штобы уж пьяный был. Не наврODE Ленки. А то бы он их в клочья разнес.

– Ты, – говорит он Иван Михайловичу, – не имешь полного права так выражаться в чужом дому.

Мордвин ему:

– Я не с тобой разговариваю, я с теткой Машей разговариваю.

А он:

– Ты не со мной разговариваешь, а я с тобой хочу поговорить, разговориться... Ты знаешь, что нынче за матерщину бывает?

Тот завел – и про гуся и про корову, – а я ему и говорю:

– Ты, Иван Михайлович, почто с этой бумагой да с ружем этим ко мне-то пришел. Ты ее кошке предьяви. Ты кошку мою на суд вызови. Там ее и допросят...

– Ну и чем же все кончилось? – спросил я бабушку.

– Да тем и кончилось, что достала я бутылку беленькой, налила им по стакану. Да и Лехе заодно. С тем и ушли.

Она по привычке вытерла концами белоснежного своего платка старческие губы:

– Надсядишь-и-и!

Я же припомнил, как несколько лет до того бабушкино искусство разговориться, может быть, даже спасло нас с мамой и младшим братом от гибели. Собственно, даже два таких случая мне припомнилось.

Дело было все в тот же ужасный сорок первый. Я-то, помнится, таким его не видел, книгочей-тимуровец сидел во мне крепко. И все происходящее я долго еще воспринимал сквозь призму «Юного барабанщика», «РВС» да льякассилевских повестей, которые помнил чуть ли не наизусть.

Чем больше сходства между наступившей жизнью и прочитанными книгами я находил, тем больше воодушевлялся, на детский, разумеется, манер...

Проводы на фронт сначала дяди Васи, потом, через неделю, отца... Первые воздушные сначала тревоги, а потом и налеты, дежурства, втайне от матери, на крыше. Первая брошенная в бачок с песком шипящая зажигалка...

Известие о том, что предстоит отправиться в эвакуацию в Сердобск, к родне отца, я встретил со смешанным чувством. С одной стороны, стояли в памяти прошлогодние каникулы, проведенные на берегу любимейшей речки, с другой стороны – расставание с боевыми, прямо из книг, буднями.

Примирило с предстоящим путешествием то, что ехать довелось не в обычном пассажирском поезде, а в теплушке. С сеном-соломой на полу, с нарами вместо полок, с неожиданными и надолго остановками где-нибудь в поле или в лесу, когда все женско-детское население составов высыпало наружу и то устраивалось на корточки по нужде, то вглядывалось в небо и вслушивалось в отдаленное уханье – то ли бомб, то ли пушек, то ли своих, то ли чужих...

Бог миловал, к моему глубоко запрятанному разочарованию, бомбежки нас миновали. И после четырехдневной, вместо одних суток, дороги, мы как нож в масло вошли в родню отца. Мама с братом остались жить у его сестры в Сердобске, а я, конечно же, выбрал Мысы, так

называли хуторок из нескольких далеко разбросанных друг от друга изб, в одной из которых жили бабушка и дедушка.

Тут на смену Гайдару и Льву Кассилю пришли Вальтер Скотт с Фенимором Купером. Мастерить луки, стрелы, щиты, копья. Воздвигать в саду шатры и вигвамы. Пробираться на лодке-плоскодонке в прилегающие к Сердобе озера да заводи. Ну и конечно же строить планы побега на фронт...

А он подходил все ближе. То слышалась отчетливо канонада, то слухи проносились, что гитлеровская «этажерка» пролетела над городом и обстреляла водокачку. Никого, правда, не убило... То появлялись сонмы беженцев и ходили по домам с протянутой рукой, с младенцами на горбу или под мышкой. До нас, правда, на Мысах, не добрались. И вдруг пришла весть, которая в одночасье вырвала меня из моего полусна.

Пришли мама и другие родственники из города и сказали, что всех «вакуированных» собирают и отправляют в Челябинск. Подальше от войны. Отъезд через три дня.

И сейчас, как вспомню об этом, мурашки по коже бегут. Что меня тогда напугало? Какие подспудные инстинкты сработали? Только я, на удивление матери, уже примирившейся с судьбой, заявил, что никуда отсюда не поеду.

Как так «не поеду»? А вот так, не поеду и все. И для пущей убедительности залез в яму, которую мы с дедом копали для новой погребницы. Буду здесь сидеть и никуда не двинусь. Что хотите, то и делайте.

Сначала над этим невесело посмеялись, потом стали увещевать меня, только не бабушка. Она позвала меня в сад. В другое бы время я обрадовался. Не так уж часто мне доверяли малину да клубнику собирать. Слишком уж они соблазнительны. Да и не много кустов и грядок у нас было. То ли дело черная смородина – ты, сынок, насобирай лукошко, а там и кидай в рот, сколько хочешь. Все-таки вылез я из своего убежища, веря, что бабушка меня не подведет. Недолгой дорогой к кустам она посвятила меня в свои планы: «Сейчас насобираем ягоды, и пойду в город. В сполком. Просить за вас стану. К Анатолию Петровичу постучусь».

Я тут же вспомнил этого Анатолия Петровича. Судя по всему, он был большим начальником. Потому что с другим начальником, «партийным», как называла его бабушка, да еще с заведующим мельницей, где дед работал ночным сторожем, несколько раз за лето приезжали к нам отдыхать на бричке, запряженной в пару лошадей, которые конечно же немедленно становились участниками моих игр в индейцы и рыцари.

Дед разжигал для «дорогих гостей» костер и заводил уху. Бабушка волокла все, что было под рукой, и то, что припрятано: беленькую, медок, огурчики с помидорчиками, секрет соления которых знала только она одна. Ну и конечно – ягода всех сортов. Через полчаса она уже собралась в дорогу. Ненадеванная юбка, новая кофта, ослепительной белизны косынка на седой голове. Корзина с малиной на сгибе локтя. Корзинку у нее тут же забрали, кто помоложе. Так все гамузом и двинулись, оставив на хозяйстве нас с дедом, который тут же засадил меня плести лапти, для чего достал с крохотного озера, скорее бочага, отмокавшее там липовое лыко, которое совсем недавно мы с ним драли в лесу. Вернулась бабушка только на следующий день, после обеда. Я, истомившийся, подкараулил ее с самого утра, прячась в кустах, как какой-нибудь Чингачгук, хотя, признаюсь, в те часы все Айвенго, Квентины Дорварды, делавары, ирокезы и крестоносцы начисто вылетели у меня из головы.

Заслышав ее шаги, увидел издали светившийся белый платок, шмыгнул на подворье и напрямик в яму. Бабушка, не заходя в дом, сунула на старую погребницу пустую корзину, сняла платок и обмахнула им запотевшие лоб и щеки.

– Вылезай, коли, – сказала она, пряча улыбку в морщинах. – Не бойсь. Отмолила. Упала Анатолию Петровичу в ножки...

Я выскочил из ямы, как пробка из бутылки. Целоваться, обниматься с бабушкой было не принято. Моя радость, мое ликование вылилось в суету вокруг нее, в какие-то бешеные, уж

точно на манер краснокожих, прыжки навстречу поспешившему из избы на бабушкин голос дедушки.

Эшелон ушел в Челябинск в положенный срок. Но без нас. И уж больше мы о нем ничего не слышали. Может, и благополучно он добрался до Урала, а может... Новостей о разбомбленных составах, и с грузами, и с людьми, было в те месяцы в наших местах не занимать... Да и что нас могло ожидать в Челябинске – оторванных от дома, от родных. Без знакомых, без родственников...

...Вскоре, наказав мне нарядиться «по-городскому», бабушка повела меня за реку, в Пригородную слободу, которая лежала, как и вытекало из ее старого, еще дореволюционного названия, под самым Сердобском, на другом берегу Сердобы.

Сама она тоже оделась на «выход», еще наряднее, вернее, торжественнее, чем прошлый раз: новая кофта в черный горошек и, конечно, ослепительной белизны белый платок, ее слабость, как я начинал уже понимать.

Накрахмаленные концы ситцевого платка, туго завязанные под подбородком и разведенные в разные стороны, составляли прямую линию.

Путь был неблизкий. Сначала лесом, потом «горою», протянувшейся вдоль Сердобы, которую мы пересекли по мосту – плотине. Тут начиналась бывшая слобода, которую теперь запросто называли Заречка.

Странное это было поселение. Даже для моего детского восприятия. Не поймешь, где улица начинается, где она кончается. Дома то густо стоят, чуть ли не напозая друг на друга, то вдруг пустота меж ними, вся в каких-то рытвинах, буераках, заросших лебедью и лопухами. В провалах виднелись закопченные остовы печей, обугленные, изъеденные жучками тесины...

Бабушка, всегда такая добрая и мягкая, тянула меня за руку, больно дергая и не замечая этого, от пепелища к пепелищу и, указывая пальцем свободной руки то в одну сторону, то в другую, яростно восклицала:

– Вот гляди – это нашего свата усадьба... А здесь сосед наш, Постнов Иван Михайлович, жил, царствие ему небесное, ныне уж и косточки его, поди, давно сотлели. Загубили его душу, говорят, где-то за Уралом-горой.

Я с робостью и недоумением смотрел не столько в сторону, куда указывал бабушкин палец, ставший вдруг необычайно длинным и негнувшимся, сколько на ее лицо. Обычно спокойные, даже кроткие уложенные волосы выбивались из-под платка жесткими спутанными космами, платок перекосялся.

– Здесь, – остановилась она наконец, – дедушки твоего была усадьба, отсюда его, сердечного, и отправили под белы ручки в Вятку... А мы, стало быть, на Мысы спасаться... Кто отправил? – переспросила она себя, хотя я и не думал задавать ей такой вопрос и боялся ответа. – Сталин ваш любимый отправил, аспид рода человеческого. И как только его земля носит, эдакого-то, прости ты меня, Господи, грешную, ирода.

Она глубоко и как бы с облегчением вздохнула: выговорила. И стала поправлять сбившийся платок. Я потому и боялся ответа, что знал, что сказанное бабушкой было как бы продолжением нашего затянувшегося спора, если можно, конечно, назвать так разговоры бабушки и ее десятилетнего внука, начавшиеся еще в присутствии дяди Васи, с которым я проводил тут в прошлом году свои первые каникулы.

Для меня тогда впервые услышать такое было концом света. И я, готовившийся вступить в пионеры, насканивал на нее, как молодой петушок, и ощущал себя еще одним Павликом Морозовым, о котором давно уже успел и в книжке прочитать, и по радио услышать, и в театре посмотреть.

Что думал, что чувствовал я, стоя перед заваленной мусором ямой, которая была некогда домом моих предков. И каким домом! В рассказах бабушки это была усадьба, сруб – пятистенок на каменном фундаменте, узорчатые наличники на окнах, резное высокое крыльцо, дере-

вянный петушок на коньке соломенной крыши. Это сам дом. А на дворе, за дубовыми с тяжелым кованым кольцом воротами, – все «поместье» – конюшня на двух-трех лошадей, «клев» для коровы да катух для поросят. Кошарка для овец.

– Каки мы таки кулаки были? – вскидывала голову бабушка. – Каки таки? Что работали от темна до темна вот этими самыми руками. – Она протягивала мне потемневшие от забот, изъеденные временем руки, на которых я и так знал каждую морщину. – Только вот и было нашего кулачества. Отца твоего в борозде родила. Зато в достатке жили. Ни к кому одолжаться не бегали. Сами, бывало, милостыню подавали. И под Рождество, и в светлое Христово Воскресенье...

И уж не припомню, продолжил ли я тогда, у родных руин, свой спор с бабушкой. Наверное, нет. Одно знаю, уж никогда не был я в силах забыть этот наш проход, старой да малого, по рытвинам знавшей лучшие времена Пригородной слободы. И когда десять с лишним лет спустя на митинге в Комаудитории Московского университета люди плакали вокруг меня, я не проронил ни слезинки. Хотя и угрызался еще совестью.

Задача по математике

Не представляю, что уже такое я вытворял, но в младших классах мне по поведению ставили четверку, или «хорошо». В зависимости, какая шкала была в тот или иной год в ходу. Было еще прилежание. По нему всегда – пятерка или «отлично». И по всем другим предметам. А по поведению – «хорошо».

А так как мои родители в силу профессии отца-автомобилиста вели бродячий образ жизни, то при переезде с места на место и, соответственно, смене школ возникали проблемы.

С первой четверкой я второкласником вернулся с родителями в Москву в середине учебного года из Алтан-Булака, монгольского городка через границу от нашей Кяхты. Отец повел меня записывать в школу неподалеку от нашего дома, и меня по причине этой самой четверки не приняли. Отправили в другую, только что построенную, где, как говорили старожилы, контингент и учителей, и учащихся был тот еще.

Здесь мне учиться довелось полтора года. Из учителей запомнилась только «немка», то есть преподаватель немецкого Мария Исааковна. Не знаю, не задавался, естественно, в ту пору таким вопросом, кто она была по национальности, немка или еврейка, помню только, что обращалась она с нашим братом круто. Да мы того и заслуживали.

– Пошел вон из класса, – заявила она как-то одному моему однокласснику.

Он неожиданно обиделся, запротестовал.

– Ах, – воскликнула она, – вы хотите вежливо? Так позвольте вам выйти вон!

Несмотря, а может быть, именно за эти штучки, которые были сродни нашим фокусам, мы ее любили, хотя немецкому не научились ни тогда, ни позже. Когда она заболела, что случилось с ней по возрасту частенько, мы обязательно навещали ее с букетом цветов, который никто из мальчишек не соглашался держать в руках, и коробкой конфет. И то и другое нам вручали в учительской. Мария Исааковна была одиноким человеком.

Грянула война, и мы уехали в Сердобск, откуда вернулись вместе с салютами за Орел, Курск и Белгород и за Харьков.

С той же четверкой в табеле по поведению я отправился, естественно, в ту же 294-ю, которая была, однако, семилеткой.

Так что через год пришлось опять менять школу. А тут еще на год уезжали мы в Калинин. Много школ, еще больше учителей. И вот диво – ни об одном из них не могу сказать дурного слова. Сколько ни стараюсь, не могу найти в тех школах, через которые прошел, примет той выморочности, рептильности и прочих прелестей, о которых столько прочитал за минувшие десятилетия. Наверное, мне просто повезло.

Вспоминаю имена... В той последней из многих моих школ, где кончал десятилетку... Физик Аршак Артемьевич, математик Иосиф Самойлович, словесники-супруги – Людмила Александровна и Геннадий Исаакович Беленькие...

Не помню, чтобы хотя бы про себя я называл одного евреем, другого армянином, третьего узбеком – был и такой, да вот не вспомню фамилии...

Сейчас в этом трудно убедить даже самого себя... Любимое выражение Иосифа Самойловича было: «Кончен бал, потухли свечи».

Аршак Артемьевич любил, натолкнувшись на тебя в коридоре, именно натолкнувшись, так стремительно он всегда передвигался, ткнуть сложенной лопаткой в ребро, иногда довольно больно, и спросить: «Как дела?» Ответа не ждал, если только не становилось ему известно, что у тебя проблема...

Дальше рассказ о том, как он и другие повели себя, когда такие проблемы возникли.

К десятому классу учителя уже представляли себе более-менее, кто из нас, старшекласников, чего стоит и куда стремится. Я числился в знатоках и любителях литературы. По этой

причине ходил в любимцах у Людмилы Александровны. Она имела привычку зачитывать на уроках страницы из моих сочинений. В десятом передала меня своему мужу, Геннадию Исааковичу, перед которым все благоговели, поскольку он всю войну воевал и к тому же готовился защищать диссертацию на звание кандидата филологических наук.

Тот тоже считал своим долгом меня опекать. И когда я заявил как-то, что Тугаринову из «Кавалера Золотой Звезды» Бабаевского мне не верится, потому что уж слишком пылко он объясняется в преданности партии и любви к народу, он очень внимательно, даже, кажется, с удовольствием меня слушал, а после урока отвел в сторонку и посоветовал вслух на эту тему особенно не распространяться. Во всяком случае, до получения аттестата зрелости. А еще лучше – до поступления в вуз. Мы с ним уже решили, что я буду поступать на филологический факультет, где год назад открылось отделение журналистики.

Не скрою, я выслушал его с некоторым недоумением. Что тоже характерно. Я и не предполагал, что мне еще придется, и не раз, столкнуться с этим злосчастным «Кавалером».

Не думаю, что я отличался особыми способностями, но в тех редких случаях, когда мама приходила на родительские собрания, не только «литераторы», но и «математик» утверждали, что у меня есть все данные идти по их линии.

Иосиф Савельевич Левинсон... Поблескивающий от бесчисленных глажек пиджачок бывшего черного цвета, галстук, который норовил всегда свернуться жгутом, короткие, выше щиколоток брюки... Много позже кто-то старательно просвещал меня, что по таким, мол, укороченным брюкам евреи узнают друг друга...

К цифрам и знакам он относился как к расшалившимся детям, которых он тщетно призывает к порядку, не особенно огорчаясь, что это ему не удастся.

Семерка у него была солдатом с винтовкой наперевес. 6 и 9 – куклы-неваляшки. 1 000 000 – рота на марше. Во главе со старшим лейтенантом. Пятерка – артист Володин жонглирует на одноколесном велосипеде в кинофильме «Цирк». Когда он объяснил, как извлекаются квадратные корни, казалось, он держит двойку за хвост и тащит ее из каких-то тисков... Тройка – это румяный теплый крендель, которые нам раздавали на большой перемене.

Вот с математикой-то чуть было и не случился конфуз. На экзамене на аттестат зрелости... Не знаю, насколько это педагогично, но ответ на задачку, которая была прислана в школу в запечатанном конверте, мы от Иосифа Савельевича знали... Я довольно быстро произвел необходимые манипуляции с цифрами, которые привели меня к искомому, вернее, известному результату. Сдал тетрадку и с легким сердцем, благо погода стояла хорошая, отправился на свидание в Останкинский парк. Учились мы тогда с женским полом в разных школах.

Домой – а я жил в ту пору один – заявился часам к пяти и обнаружил в дверях записку, помеченную тремя часами раньше. Еще не отдавая себе отчет, что же произошло, рванул в школу и обнаружил, что Иосиф Савельевич поджидает меня вместе с Геннадием Исааковичем, который был у нас к тому же классным руководителем. Оказывается, к требуемому ответу я пришел, увлекшись, каким-то не тем путем, «оригинальным, но ошибочным», умудрился еще состричь Иосиф Савельевич, и мне просто надо сесть в пустом классе и переписать работу. Что я и сделал.

– Кончен бал, потухли свечи, – не удержался от своего любимого Левинсон, забирая второй раз за этот день у меня тетрадку. Я только потом сообразил, что мои учителя с риском для собственной репутации и элементарной безопасности нарушили все мыслимые правила проведения выпускных экзаменов. Конверт с работами, который должен был быть опечатан еще два часа назад, лежал и как миленький поджидал меня. На что, как шепнул мне, успокаивая, Геннадий Исаакович, удалось уговорить и директора, она же и председатель экзаменационной комиссии, Лидию Николаевну.

Они еще и оправдывались передо мною, мои спасители. Чтобы я не подумал о них чего-нибудь плохого. Мол, всем известно, что экзамены – чистая формальность, источник бессмысленных случайностей.

Словом, как и по другим предметам, по математике я получил пятерку и был представлен в числе трех-четырех моих однокашников к золотой медали.

Был назначен выпускной вечер с вручением аттестатов, а утром того же дня выяснилось, что медали на мою долю из горono не прислали. Геннадий Исаакович переживал, кажется, больше меня. Он точно знал, что без медали на «журналистику» лучше и не пробовать. С одной стороны – бывшие фронтовики, которых закономерно зачисляють, почти не спрашивая на экзаменах, тем более что все они, как правило, члены партии. А с другой стороны, «золотая молодежь», то есть родительский конкурс, выражение, которое только-только входило в моду. За меня хлопотать было некому.

Он убеждал меня подавать в педагогический, благо их в столице было тогда несколько – и областного, и центрального подчинения. На факультет русского языка и литературы.

– Писать все равно никакой университет не научит, а к литературе вы будете здесь даже ближе...

В десятом классе учителя обращались к нам на «вы». Хоть и хорошие были у меня учителя, но на профессию их у меня была аллергия.

Между тем Генадя, как мы сокращенно звали его про себя, знал то, что от меня из гуманных соображений скрывали: директриса «так этого вопроса не оставила» и добивалась от горono разъяснений. И вот снова, через неделю после выпускного вечера, вызов меня в школу, уже оконченную, и вручение в «узком кругу» Геннадия Исааковича и Лидии Николаевны... серебряной медали. Ларчик просто открывался. «В горono решили, – разъясняли они мне, довольные исходом и собой, – что человек с таким почерком просто не может ничего пут ного написать. И не глядя переделали пятерку на четверку. А с четверкой за сочинение ни о какой медали уже говорить не приходится.

Настойчивость моих наставников сработала. Сочинение было-таки прочитано, пятерку мне за него поставили, но на медали сошлись серебряной. Чтобы ни нашим, ни вашим. И я чуть ли не из школы помчался на Моховую – сдавать документы на филфак. Вот такая незамысловатая история, помеченная июнем 1948 года. Эхо ее донеслось до меня десятилетия спустя, в Стокгольме, когда я уж и сам стал сомневаться, не приснилось ли мне все это.

Пришло в 1983 году в Стокгольм письмо от сокурсника по университету, из фронтовиков, Коли Пияшева: «Познакомился с Геннадием Исааковичем Беленьким, который так-то обронил фразу, что, мол, теперь среди его учеников есть один посол. Когда стало ясно, что речь идет о тебе и что мы с тобой однокашники, сообщил мне любопытную историю о твоём почерке, который чуть было не стоил тебе серебряной медали и, соответственно, университета». В утешение мне Николай – историк литературы – сообщил, что точно такой же почерк был у Луначарского. Когда до революции он сидел в тюрьме, его надзиратель, который по должности обязан был перлюстрировать его переписку, однажды взмолился: «Господин Луначарский, пишите поразборчивее, а то я все ночи провожу за расшифровкой ваших каракулей».

Не знаю, внял ли этой мольбе Луначарский, но мне за мой почерк сейчас и двойки бы не поставили.

Отец и списанный мотор

То ли натура у отца была такая – бродячая, то ли, не говоря об этом вслух, мои родители отказывались признавать нашу на 16 квадратных метров комнатуху на первом этаже в двухэтажном бараке в Останкине верхом комфорта, но и до войны, сразу же после окончания отцом Московского автодорожного института, и после войны, по возвращении отца с фронта, жизнь они вели кочевую. Все помыслы о лучшей для него работе связывали с отъездом из Москвы. В сорок шестом году выбор пал на Калинин, так тогда называлась Тверь.

Там, в десяти примерно километрах от города, притулилась так называемая ЦРБ – центральная ремонтная база, возвращавшая жизнь грузовым и легковым автомобилям, начальником которой и был назначен отец – инженер-майор запаса...

Недалеко от конторы и собственно производственного помещения, не помню уж, как его называли – цехом или мастерской, стоял одноэтажный деревянный домик из двух комнат с кухней, террасой и чуланом. По сравнению с нашими останкинскими апартаментами – одна кухня и одна уборная на два десятка дверей, выходящих в длинную «колбаску» – коридор, это был дворец.

Добавьте к этому, что, коль скоро предприятие было автомобильным, у отца была персональная легковушка – такой же задрипанный «газик», драндулет, как в Монголии, и персональный водитель, только уже не расконвоированный заключенный, как там, а военнопленный немец, тоже, кстати, расконвоированный, – Вилли Кнеч, в число обязанностей которого входило возить меня в Калинин в школу, коль скоро никаких других видов пассажирского транспорта не существовало. Судя по тому, что ездили мы с ним в город вдвоем, режим у него был действительно свободный.

По-русски он говорил всего несколько слов. Шесть из них он повторял особенно часто: «Ой, Борис, глава (с ударением на первом слоге) болит. Не знаешь почему (без вопроса)».

Я как мог утешал его на моем от Марии Исааковны немецком. Запомнился еще один немец. В отличие от подтянутого, сухопарого, всегда аккуратно выбритого Вилли он являл собой жалкое зрелище: рыхлость фигуры, неопрятность всегда заросшего лица, суетливость в манерах усугублялись неряшливостью одежды, коей, как и Вилли, служила ему донашиваемая унтер-офицерская форма.

Да и функции были у него обыденные – убирать поутру в доме. То ли ему это поручили в силу его неприглядной внешности, то ли само это поручение так повлияло на его облик.

Однажды, обнаружив, что все пространство дверной коробки, ведущей на кухню, перегородено его объемистым афедроном, обтянутым грязно-зелеными галифе, я в шутку толкнул его слегка коленом в зад, он испуганно выпрямился, и я увидел, что в руках у него ведро для кухонных отходов, а на мокрой физиономии прилипли картофельные очистки и масляные обертки. Не припомню, чтобы он очень уж смутился. Но на следующий день, прежде чем взяться за работу, он вытащил из накладного кармана френча, слегка приведенного по этому случаю в порядок, стопку фотографий.

– Я, – говорил он матери и мне, тыча себя пальцем в грудь, – гросс-капиталист. А это – моя семья. Мои фервандте, то есть родные.

Вот он сам, но какой!.. Прилизанные, на пробор волосы, выпученные глаза, круглые щечки, бравая щетинка усов, бабочка под увесистым подбородком... Под стать ему жена, пухлая ухоженная фрау с шестимесячной завивкой, и такие же, в бантах и локонах, детки, не помню уж, сколько их там было.

В свои шестнадцать лет я был достаточно начитанным «вьюношей», и персонажи романов Лиона Фейхтвангера, Генриха Манна, филистеры-бюргеры моего любимого Генриха Гейне сразу встали перед глазами. Сомкнулись жизнь и литература.

Оказалось, что не я один видел Фрица (как ни странно, именно так его звали) в описанной выше ситуации.

За вечерним чаепитием пошли разговоры о Фрице и Вилли: он бы себе такого никогда не позволил как человек из рабочих, которого нуждой да голодом не удивишь.

– Гросс-капиталист, – передразнил отец. – Между прочим, хлеба в день он получает больше, чем вы, – кивнул он в нашу, матери и мою, сторону. – Да и похлебку им в зоне дают – пальчики оближешь.

Супчика мне этого довелось вскоре попробовать, когда всех нас, членов семей сотрудников ЦРБ, пригласили на праздничный вечер и концерт самодеятельности, который давали военнопленные. Суп оказался действительно очень вкусным и даже тогда отдавал сразу любившимися мне ароматами кухни, которую я впоследствии определил для себя как восточно-европейскую.

Что же до концерта, то в памяти сохранились лишь какие-то лошади с жирафами с армейскими бутсами на ногах, которые прыгали по сцене, издавали неприличные звуки и роняли из-под матерчатых хвостов коричневые кругляши, катившиеся под ноги взвизгивающих от восторга зрителей в поношенных кителях и френчах со срезанными погонами.

Дома, несмотря на высокое положение отца в масштабах ЦРБ, было хоть шаром покати. К хлебной ковриге, которую мать получала по отцовской и трем нашим иждивенческим карточкам, тянуло нас как магнитом. Оладьи пекли из картофельных очистков, таких же, какие Фриц надеялся выловить в помойном ведре. Картошку, почему-то почти всегда подмороженную, ели с каким-то бурым жидким маслом, которое называлось знакомым словом – постное, но ничего не имело общего ни с подсолнечным, известным мне по Сердобску, ни с кукурузным.

Суп варили из костей, которые отец выменивал на бойне на какие-то списанные детали. Вот тут-то нас и поджидала беда. На отца донесли, что он, мол, разбазаривает вместе со своими заместителями производственное оборудование. Приехала комиссия. Дело попало в суд. Тянулось оно долго. О развитии событий я мог догадываться лишь по нервному ночному перешептыванию отца и матери за стеной.

С наступлением летних каникул меня отправили к бабушке в Сердобск, первый раз после окончания войны. И там, на берегах милой моему сердцу Сердобы, заготовливая для бабушкиного козьего поголовья сено и веточный корм, я совсем было забыл о нависшей над семьей опасности. А вернулся как раз под заседание суда. Накануне отец рассказал мне, в чем было дело, и сказал, что виноватым себя не чувствует, но готовым надо быть ко всему. Я все молча, наклонив голову и роняя слезы, выслушал, но сморозил в ответ такое, отчего и сейчас, при воспоминании, кожа становится гусиной от стыда:

– Если виноват, надо отвечать...

Совсем в том же книжном духе, как тогда дяде Васе... Отец так же странно, как и младший брат его, словно на чужого, посмотрел на меня... Мать запричитала:

– Что ты такое, Боря, говоришь. Папа ж ничего такого не... Да мы бы все с голоду, если бы не...

Суд состоялся и приговорили отца к году условно, то есть с выплатой 25 процентов ежемесячного жалования. Отец словно с того света вернулся. Приговор воспринял как награду. Родители чуть ли не до утра шептались опять за стеной, но уже совсем в иной тональности. Поминали добрым словом то секретаря райкома партии, который «поверил», не исключил до суда, как обычно делалось, из членов партии; судью, который «во все вникнул, разобрался по совести», свидетелей, которые «не побоялись всю правду сказать»...

Утром Вилли повез меня в школу и ни разу не пожаловался на то, что «глава болит».

Снова и снова «кавалер»

Золотая медаль в те годы давала право поступления в любой вуз без экзаменов. Достаточно было подать заявление. Серебряная медаль предполагала собеседование по двум предметам. На филфаке МГУ это были литература и иностранный язык.

По литературе со мной беседовали два аспиранта. Одного звали Борис Стахеев, другого – Анатолий Бочаров. Следы первого я потерял вскоре после окончания университета. Со вторым мы еще много лет соприкасались на общей для нас литературно-критической ниве. При первой нашей встрече мне было не до того, чтобы разглядывать моих экзаменаторов. Но, как мне довелось убедиться позднее, это были два совершенно разных человека.

Стахеев, который поначалу запомнился острее, был, видимо, из тех, кто, подобно Борису Когану, «с детства угол рисовал», да и сам состоял из одних углов. Невысокий, худой. Ворот рубахи расстегнут, пиджак с разворотом плеч под сто восемьдесят градусов распахнут, голос не по росту зычный, правая рука либо поднята в трибунном жесте, либо рубит воздух короткими сильными движениями. Словом, комсомольский вождь, какие мне тогда, признаюсь, нравились. Бочаров – сама мягкость. В движениях, в позе, в звуках голоса, который не услышишь, если не напряжешься. Но именно он спросил меня относительно Бабаевского.

Спросил и, видимо, сам пожалел об этом, когда я понес, только в более развернутом виде, все то, чем еще недавно озадачил Геннадия Исааковича: зачем так громко и утомительно клясться в любви к Родине, к партии, к товарищу Сталину...

При упоминании имени вождя Бочаров словно бы посуровел и не без опаски бросил взгляд на Стахеева, у которого обветренная кожа на лице еще более обтянула острые скулы.

– И все ему сразу удастся. Главным образом потому, что на груди у него «Звезда» Героя Советского Союза. Но ведь не у каждого такая «Звезда».

Стахеев слушал молча и угрюмо, Бочаров мягко и настойчиво возражал, что, мол, дело не в «Звезде», а в характере героя, в его настойчивости, самоотверженности, боевом опыте, который ему давала война...

Много позднее он объяснял мне, что, бросая эти дежурные фразы, пытался направить мои рассуждения в требуемое для достижения цели русло. Я же, воодушевленный шаблонностью его аргументов, гнул свое. Мол, все-таки, если бы он добился того же, но как обычный фронтовик, читатель больше бы верил в его достижения.

– А вы разве не верите? – впившись в меня взглядом, быстро спросил Стахеев.

– Да нет, я верю, – заблажил я, вдруг припомнив предостережения Геннадия Исааковича, – но...

– Ну вот и хорошо, что верите, – прервал меня Бочаров, который, видимо, был за старшего в этой связке.

– У меня больше вопросов нет.

И посмотрел на Стахеева. Потом на меня. «Заткнись, дубинушка», – прочитал я в его взгляде.

Стахеев молчал. Бочаров взял мой «обходной лист», или как там его называли, и, что-то начертав в нем, протянул Стахееву. Тот сидел в задумчивости. Я замер, осознав уже совершенно отчетливо, что сейчас в один миг могут рухнуть все мои планы и надежды.

Стахеев, не торопясь, обмакнул перо 86 в чернила. Подержал ручку на весу и, наконец, обведя нас с Бочаровым взглядом, словно заговорщиков, расписался, обрызгав лист чернилами. Только выйдя из аудитории и заглянув в бумажку, понял, что собеседование прошел.

А потом не раз еще, слушая разгромные речи Стахеева на различных комсомольских митингах, удивлялся своей удаче. Через четыре с половиной года, начиная готовиться к дипломной работе, я снова взялся за свое. Моей темой было: «Люди колхозного села в совре-

менной советской литературе». В результате того, что мне всерьез казалось анализом, я пришел к выводу: в повести Ивана Лаптева «Заря» краски сгущены; в романе Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» колхозная жизнь, наоборот, приукрашена. Синтезом является роман Галины Николаевой «Жатва», герои которого, прежде чем добиться успехов, преодолевают огромные трудности, вызванные послевоенной разрухой...

Наивная эта диалектика не вызвала особых возражений у руководителя моей дипломной доцента Нины Петровны Белкиной, которая была супругой другого литературоведа, звезды филфака Абрама Александровича Белкина. Еще один литературно-педагогический тандем на моем пути.

Обратив мое внимание на известную схематичность анализа, вполне объяснимую, по ее мнению, у начинающего исследователя, она поставила пятерку и, как положено, отправила работу в дипломную комиссию.

Через несколько дней ее председатель, старший преподаватель Петр Федорович Юшин, который одновременно был парторгом факультета, вызвал меня для беседы.

Смоляные, простроченные первой седью волосы, черные брови, смуглое лицо с темнотой под глубоко сидящими и как бы фосфоресцирующими глазами. Сочный баритон.

Черт его знает почему, но мне тогда нравились внешне такие люди, как Юшин или Стахеев. Казалось, даже фамилии их испускают какой-то магнетизм. Мужественностью веяло и от их титулов: парторг, комсорг...

Беседа приняла, однако, неприятный оборот. Перелистывая у меня на глазах мою рукопись и заглядывая в какие-то еще бумаги, Юшин стал расспрашивать меня о моих предках, о том, почему я выбрал именно эту тему, бывал ли сам в колхозах и давно ли. Еще два-три вопроса – и быка за рога: какие у меня есть основания утверждать, что в романе «Кавалер Золотой Звезды» колхозная жизнь приукрашена? Разве мне не известно, что книга пользуется огромным успехом у читателя и удостоена Сталинской премии первой степени? А это значит...

На этот раз я чувствовал себя увереннее, чем пять лет назад. Как ни говори, кроме сердобских впечатлений, у меня за плечами четыре месяца производственной практики в сельхозотделе саратовской областной газеты «Коммунист». Исколесил и плодородный правый берег Волги, и засушливое Заволжье... Да и на Кубани, откуда родом Тугаринов Бабаевского, побывал по командировочному удостоверению журнала «Молодой большевик».

Вблизи Юшин уже не выглядел тем воплощением справедливой строгости или жесткой справедливости, каким он мне казался раньше. Особенно на трибуне. Набрякшее лицо, потерявшие свое свечение глаза, мешковатость возвышающегося над столом торса. Как-то вяло, словно по обязанности выслушав меня, он спросил, не желаю ли я взять работу обратно и еще потрудиться над ней. В свете высказываемых замечаний...

Кем высказываемых? Никто, кроме него, мне замечаний не делал. Нина Петровна, наоборот, упоминала, что давала почитать Абраму Александровичу, и ему понравилось.

Перспектива возиться снова с изрядно надоевшим уже опусом, когда впереди еще столько «госов», меня не привлекала. Так что это были не идеологические мотивы и не дух противоречия, когда я, как с головой в омут, – парторг все-таки, – сказал:

– Нет, не желаю вроде...

– Ну, смотрите...

Прямо от Юшина я проследовал к Нине Петровне, как она мне и велела, узнав о вызове к парторгу.

Слушала и понимающе кивала. Да-да, он и мне это говорил. Нет, вы правильно ответили. Я посоветуюсь с Абрамом Александровичем. Кстати, Юшин сам должен скоро защищаться у него.

На мою защиту Юшин благоразумно не явился. Да и не обязательно было такой важной персоне присутствовать на всех защитах. Я получил уверенную пятерку, а вместе с нею и диплом с отличием.

Хохловка – это где?

Школьников (так, в отличие от бывших фронтовиков, называли тогда абитуриентов, пришедших из десятилетки) на отделение журналистики принимали только с золотой медалью. У меня была серебряная, и, несмотря на успешное завершение собеседований, мне предложили... классическое отделение или отделение логики.

Классика была далека и непонятна. Но все же это была литература. Логика – только логика. Пометавшись и потосковав, я выбрал классику.

Сима Соловейчик, с которым я познакомился накануне, выбрал логику. Тоже из школьников и тоже с серебряной медалью. И тоже хотел на журналистику.

Когда в конце августа я пришел на Моховую, 9, чтобы узнать расписание занятий, я обнаружил себя, не веря глазам своим, в списках немецкой группы отделения русского языка и литературы. Сима по-прежнему фигурировал среди «логиков».

После первого курса я, к великому огорчению моих сокурсников по второй немецкой, где большинство составляли девчонки, перевелся-таки на отделение журналистики и чувствовал себя человеком, которому просто не о чем больше мечтать.

Сима, который, как показало время, журналистике был привержен так же фанатично, как я, если не больше, продолжал учиться на логике, хотя попытку сигануть на журналистику сделал. Не помню, думал ли я тогда, что это потому, что он еврей, или нет. Кажется, нет.

А может быть, его еврейство было тут ни при чем? Просто я уже на третий день своей студенческой жизни двинул на улицу Герцена, 3, левый фланг того же казаковского здания на Моховой, где в двух комнатах-клетушках находились редакция многотиражки «Московский университет» и ее ответственный секретарь Сима Гуревич.

Невысоконького роста, идеально выглаженные костюм и галстук, очки-«велосипеды», под которыми необыкновенно внимательный и добрый взгляд. Иногда мне кажется, что такого взгляда я больше ни у кого никогда уже не встречал.

Сентябрь 1948 года. Несколько дней назад умер Жданов. Наш, первокурсников, первый учебный день на Моховой, напротив Манежа и Кремлевской стены, пришелся на его похороны. Уже год бушевали бури по поводу постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», на всех перекрестках кляли Зошенко и Анну Ахматову, о которой я знал из доклада Жданова только то, что в своем «будуаре» она «грешит и кается. Кается и снова грешит».

Как вспомнишь, задним числом мурашки по спине бегают. А на моем пути, сколько ни напрягаю теперь свою память, еще не встретился ни один человек, который отнесся бы зло ко мне, позавчерашнему выпускнику средней школы, вчерашнему абитуриенту, сегодняшнему первокурснику филфака МГУ. Наоборот, все только и делают, что вызволяют меня из разных нелепых ситуаций, в которые я то и дело попадаю по собственному растяпству.

Вот и Сима Гуревич, недолго думая, зачислил меня внештатным сотрудником отдела культуры и быта, выдал, о чем я даже и помыслить не смел, переступая порог редакции, удостоверение в виде красивой бумажки со штампом МГУ и печатью... Заодно и сообщил имя заведующего отделом, куда я был зачислен корреспондентом на общественных началах, – Алексей Аджубей. И внимательно посмотрел на меня. А может быть, это мне так теперь кажется?

Убей меня бог, не помню, был ли Аджубей тогда уже зятем Хрущева. Но помню, что в тот момент я понятия не имел об этом примечательном обстоятельстве...

Мой первый в жизни зав мне понравился с первого взгляда. Быть может, тем, что не стал вводить меня в курс забот отдела. Не стал выяснять, что я могу и не могу.

Просто залез в карман своих твидовых штанищ, достал бумажку и сунул мне в руку:

– Это письмо из общежития строителей МГУ. Дуй туда и проверь. И напиши, как у них там. Жалуются, что плохо.

Поехал я проверять, хотя понятия не имел, что, собственно, сие слово означает.

Адрес был – Хохловка, тоже название для меня неизвестное. Когда я написал о том, что там увидел, а было еще хуже, чем у нас в Останкине, двухэтажном бараке на сорок квартир с двумя кухнями и двумя уборными, и протянул написанное Аджубею, он первым делом взглянул на заголовок. Увидел: «Хохловка – это где?» – и просиял. Так и началась наша дружба.

История с заголовком повторилась несколько лет позднее. Журналист «Комсомолки», я вернулся из своей первой заграничной поездки – из Болгарии, где провел месяц. По приглашению, или, как тогда говорили, по обмену, с болгарской молодежной газетой, их «Комсомолкой» – «Народна младеж». Так наградили меня за мои критические заметки с алтайской целины.

Хотя работал я в комсомольском отделе, свой первый болгарский опус отнес, как положено, заведующему иностранным отделом Борису Стрельникову.

– Как назвал? – спросил он с усмешкой. – Небось, хороша страна Болгария?

Я кивнул не без злорадства. Поскучнев ликом, он нехотя взял у меня из рук рукопись. Взглянул на первую страницу и расцвел: «За границей – но дома».

Я действительно так себя тогда чувствовал в Софии и в Болгарии. В августе – сентябре 1956 года. За два месяца до венгерских событий. И не было в этом ощущении ничего имперского, никакого гегемонизма.

Просто ощущал себя желанным гостем. Хотите верьте, хотите нет. И все мои хозяева из «Народна младеж» именно так ко мне и относились. И никогда уже больше, ни до и ни после, ни в Болгарии, ни где-нибудь еще, мне не посчастливилось встретиться с таким приливом любви ко всему русскому. Которое, как не сразу, но заметил, никто не называл советским. Но пока я в МГУ на Моховой. Студент первого курса филфака, рвущийся на отделение журналистики. И до смерти Сталина еще почти пять лет.

«Наши женщины должны одеваться как княгини...»

В старом «новом» здании МГУ на Моховой, там, где с выходом на улицу Герцена теснилась и многотиражка «Московский университет», главная аудитория называлась Коммунистической. В старом здании, Моховая, 9, где на четвертом этаже находились сразу и филфак, и факультет журналистики, самой большой была угловая аудитория № 2, с окнами на Моховую и Манежную площадь. Здесь читались лекции для всего курса и совершались все общественные события. Общественная жизнь была ключом, и, как тогда любили выражаться, все по голове.

Мы как раз начинали наш второй курс, когда жертвой такой привычки «кипеть и пениться» стал наш однокашник, туркмен Мурат Непесов.

Дело было в Комаудитории, на обсуждении пьесы Анатолия Софронова «Московский характер», о которой буквально на днях стало известно, что она получила Сталинскую премию первой степени. Мурат, рослый детина, с копной черных жестких волос, обрамлявших смуглое, скуластое, с крупным носом и губами бантиком лицо, вдруг поднялся на сцену и сказал, что спектакля он не видел, денег нет в театры ходить, а пьесу читал и она ему не понравилась. Аудитория, то есть все присутствующие в ней, сначала охнули, а потом словно онемели.

Воцарившуюся тишину прервал заполошным голосом председательствующий, аспирант филфака, который предложил Мурату, верзиле с ликом кочевника, объяснить собравшимся, чем именно не понравилась ему пьеса выдающегося драматурга современности, одного из руководителей Союза писателей СССР, которая только что была так высоко оценена партией и правительством.

Развернутых аргументов у Мурата не нашлось. Он просто буркнул, что с трудом дочитал пьесу до конца, и спрыгнул со сцены поближе к выходу.

Громы и молнии по его адресу раздавались, судя по всему, в его отсутствие. Но через пару дней в старом корпусе собралась, не по своей инициативе, комсомольская группа отделения тюркологии и дружно, без долгих прений, вкатила ему, при молчаливом его согласии, выговор «за незрелое поведение при обсуждении общественно важных вопросов». Мурат не каялся, но и не трепыхался. Стороны разошлись довольные друг другом.

Примерно в те же дни, заскочив по ошибке в полукруглую Вторую аудиторию, я попал на обсуждение другого премированного шедевра той поры – спектакля по пьесе Анатолия Сурова «Рассвет над Москвой». В гости к аспирантам филфака приехали артисты Театра имени Моссовета во главе со своим художественным руководителем Юрием Александровичем Завадским.

Пьеса, как я слышал раньше, была о текстильщицах московской Трехгорки. Выступавшие соревновались в комплиментах автору и труппе. И только один аспирант позволил себе усомниться в полном совершенстве текста.

– Почему, – вопрошал он, – автор пьесы считает, что высшей похвалой нашей женщине служит сравнение ее с аристократками прошлого?

И хотя оратор идеологически выдержанно апеллировал к пролетарскому достоинству героинь пьесы, Юрий Александрович, статью и величавыми манерами которого я любовался уже целый час, вскочил как ужаленный.

– Эти слова, – произнес он своим неповторимым баритоном, льющимся словно ртуть – тяжело и блестяще, – эти слова, дорогой товарищ, – а слышалось: «Милостивый государь», – в которых вы изволили обнаружить подобострастие перед дореволюционным прошлым, принадлежат, да будет вам известно, – тут он взял и обескураживающе долго держал классическую паузу, – принадлежат товарищу Сталину, – не помню, назвал ли он его при этом великим вождем, корифеем всех наук и лучшим другом всех трудящихся. – «Наши женщины достойны того, чтобы одеваться как княгини...» – сказал товарищ Сталин.

Я много раз еще видел и даже встречался с Юрием Александровичем – в театре, на каких-то заседаниях, дома у Галины Сергеевны Улановой, мужем которой он когда-то был.

Либерал, вольнодумец, новатор сцены, чей талант обрел второе дыхание в годы хрущевской «оттепели». Но каждый раз в памяти всплывала злополучная Вторая аудитория, наполненная блестящей декламацией великого лицедея и растерянностью аспиранта с не запомнившимся мне именем.

Это как с траурным маршем Шопена. Стоит его услышать, как правило, в соответствующей обстановке, как начинают, словно в насмешку, звучать кем-то однажды напетые слова: «Умер наш дядя...»

Десятилетия спустя прочитал в книге Алексея Щеглова о Фаине Раневской, что она назвала этот спектакль о производстве тканей, в котором вместе с ней были заняты Николай Мордвинов, Вера Марецкая, Борис Оленин, голгофой для актеров, «соплями в сахаре»...

«Открытое письмо Борису Панкину» и «правда о понизовском»

Как сейчас понимаю – внешне он был похож на Константина Симонова. Чернявый. Улыбчивый. С такой же, только не обеспеченной еще творчеством манерой подбадривать и одушевлять окружающих. Не потому ли мы выбрали его комсоргом нашего первого, в зимние каникулы, похода «от Муром до Рязани»? И такой же писучий, как Симонов. Только пока без его оглушительной славы.

Популярность Володьки Понизовского не распространилась дальше нашего курса. Но на нашем, где ребят было раз, два и обчелся, все девчонки поголовно были влюблены в него. Как бы по определению. Так что мы даже и не пытались ревновать. Находили это бессмысленным. А может, это мне просто так казалось?

И вот на четвертом курсе в стенной газете филфака появилась статья с огромным жирным заголовком: «Правда о Понизовском». Признаться, уткнувшись в нее, я не скоро сообразил, в чем, по мнению авторов, состояла эта правда. Прежде всего меня поразило то, что под статьей стояли две подписи – двух наших закадычных друзей. Оба, как нарочно, участники того самого похода зимой, на лыжах, из Мурома в Рязань.

Но и это открытие я не успел толком переварить, потому что рядом обнаружил другой опус такого же примерно размера, который назывался: «Открытое письмо Борису Панкину». И под ним – четыре подписи, тоже моих да и Пини Гопского (прозвище Понизовского) лучших друзей.

Если посмотреть на это сегодняшними глазами, все совершенно ясно. Особенно насчет Понизовского. Конец 1952 года. Он – еврей. Сын репрессированных. О судьбе отца ничего не знал, а мать, врач по профессии, недавно вернулась из мест не столь отдаленных, не могу теперь сказать, каким чудом, и работала в клинике профессора Вовси. Да, того самого, что был одним из главных обвиняемых по пресловутому делу врачей.

Вспоминаю, каким подавленным стал Володька, когда в газетах появилось сообщение об этой «преступной группе», как он, словно заведенный, все повторял, что мать как раз у Вовси работает.

– Ну и что же, – с чистым сердцем успокаивал я его и все никак не мог взять в толк причину его томлений, – ну и что же, что она у Вовси работает. Она-то ведь не вредила, никого не травила. При чем тут, что у него работает...

И вот теперь «Правда о Понизовском». Ясно, с каким прицелом это сделано. И на что рассчитано. Ведь совсем недавно исчез из коридоров филфака Костя Богатырев, и Симы Маркиша нет... О первом шептались – арестован. Второй, вместе с сокурсницей-женой, Инной Бернштейн, отчислен из университета...

А из ареста профессора Пинского, который читал курс о западной литературе, даже секрета не делали. Нам на курсе он запомнился одной фразой из лекции об эротике Средних веков: «Сладострастна не обнаженная женщина, а обнажаемая женщина».

И то, что друзья подписались, – тоже понятно. Их припугнули, они и подписали как наиболее осведомленные свидетели Володькиных походов. А может, даже это и не потребовалось. Они же все комсомольцами были. Понимали, что к чему. Раз надо, значит, надо. Тем более все это знали – Дон Жуан...

А Панкина пристегнули для отвода глаз. Чтобы не говорили, что одних евреев...

Сам до сих пор удивляюсь, что ни тогда, ни после не пришло мне в голову поинтересоваться подоплекой. Даже мысли о возможности ее не появилось. Просто были боль и обида, что лучшие друзья не захотели тебя понять.

В «Открытом письме» меня упрекали, или обвиняли, если хотите, в том, что вместо того, чтобы отдаться без остатка комсомольской работе и согласиться на избрание комсоргом курса, я, мало мне показалось многотиражки, устроился на полставки в «Комсомольскую правду». Не иначе, чтобы избежать распределения... К тому же еще и жениться собрался – на красивой однокурснице с «папашей и квартирой».

Очевидная для меня абсурдность претензий не подавляла, а, наоборот, воодушевляла. Я с нетерпением ждал собрания, на котором нас с Володькой должны были разбирать. Предвкушал, как лихо мы разрушим неуклюжую пирамиду обвинений.

Будь то в романе или повести, написанной годами десятью позже, мне и тем более Понизовскому пришлось бы, скорее всего, горько разочароваться. Чем очевиднее становилась бы наша невинность, тем неотвратимее и жестче ожидало бы нас наказание. И уж во всяком случае, исключением из комсомола и даже университета дело бы не ограничилось.

В жизни, да, в той страшной жизни ранних пятидесятых, где, как мы узнали задним числом, арестовывали ни за грош, с нами двумя, обличенными публично, не важно за что и поделом ли, и тем самым уже как бы списанными в тираж, ничего не случилось.

Вторая аудитория на филфаковском этаже старого здания на Моховой, где нас обсуждали, была набита битком. На защиту Понизовского, не успел он еще рта раскрыть, стали... сокурсницы. Те самые якобы обиженные им. Разалевшиеся лица. Разметавшиеся от волнения волосы, светящиеся девичьи глаза... Какими пошляками, сальными мужиками надо быть, звучало, чтобы в бережном, уважительном, полном трогательной заботы отношении бывшего «сына полка» к своим товарищам в юбках (брюки тогда еще не носили) увидеть что-то скабрезное...

– Да если бы что-то такое было, мы бы тут сейчас глаза ему повыщарапывали, – заявила одна. – А с кем там у него роман, никому нет дела.

Пиня переводил поочередно с одной на другую, с другой на третью свои огромные карие с длинными ресницами глаза и, кажется, готов был общупать или ущипнуть сам себя – о нем ли говорят, не спит ли он? Я, опережая возможных адвокатов да и прокуроров, вступился за себя сам. Просто никому не мог уступить такого удовольствия. Говорят, я пропадаю в университетской многотиражке. Но разве на семинарах по «теории и практике большевистской печати» наш декан Тимофей Иванович Антропов не говорит, что прежде всего для газетчика – именно практика? Теория приложится. Впрочем, у меня и по теории – всегда пятерка. И разве мы не сочинили частушку об одном из таких «теоретиков»? Я не мог отказать себе в некотором хамстве:

Иваньков у нас в почете
И на курсе, и в бюро;
Но в журнале и в газете
Он не смыслит ничего...

И никакой будущей тещей мой не шишка. Завканцелярии в министерстве. Да если бы и шишка... Я же не на нем женюсь... И квартира... Конечно, если сравнить с той шестнадцатиметровой комнатой в новоостанкинском бараке, где я живу с родителями и младшим братом, – это дворец. Но этот дворец – две смежные комнаты в квартире с соседями. Да и какое это имеет значение. Мы ведь все равно с ее родителями жить не собираемся. Подыскиваем комнату. А чтобы платить за нее, я начал подрабатывать. Вопрос:

- Где подрабатываешь-то?
- В обществе по распространению знаний...
- Лекции, что ли, читаешь?
- Нет, редактирую тексты.

– Ну и как?

– Что – как?

Я скорчил гримасу, воодушевляющую зал.

– А как ты туда попал?

– Иван Александрович (преподаватель по истории все той же большевистской печати) меня порекомендовал... На полставки. Полный оклад 1800. Мне платят половину.

– А «Комсомолка»?

– Пригласили на фикс после нашей с Понизовским корреспонденции о новой станции московского метро «Краснопресненская». Кто же откажется, если намерен стать профессиональным журналистом. Но и бросить из-за этого «Московский университет» было бы просто подлостью... Вот и приходится попевать.

Собравшиеся, видно не ведавшие о зловредных замыслах организаторов этой кампании травли, с недоумением смотрят друг на друга. Такого вроде бы не осуждать, а в пример ставить надо.

– Почему не явился, когда тебя хотели избрать комсоргом?

– Родительский совет шел дома у нее. Да неожиданно затянулся: мои были против. Говорили, что против. Мне несколько раз звонили с курса, я им объяснил... Не мог же я всех там бросить...

Зал снова отозвался сдержанным шумком, в котором явно улавливалось сочувствие пополам с улыбкой.

– Ну ладно, – вдруг как-то стремительно, словно из-под воды вынырнул, поднялся Лешка Масыгин. Мягкие светлые волосы. Правильный овал лица. Серые с теплой радиацией глаза.

Если Понизовский проходил на курсе как эталон внешней красоты, Масыгин был первым в области внутренней, духовной. Что он скажет, то правильно. Ему доверяли и в коридоре, и в деканате. И ему же старшие, партийные товарищи первому, собственно единственному из нас, еще на третьем курсе предложили заполнить анкету. Другими словами, вступить в партию. С тех пор он уже успел стать парторгом курса.

– По-моему, все ясно, – сказал Масыгин, нимало не смущаясь тем, что не он председательствовал на собрании. – Как насчет выговора, будем объявлять?

Зал охнул от неожиданности.

– Кому? За что? – выделился из общего шума девичий голос.

– Как кому? Как за что? – удивился Масыгин. – За грубые ошибки, допущенные в обсуждаемых статьях. За предвзятое отношение к своим товарищам. За время, которое мы тут потратили на эту...

Он затруднился подобрать подходящее слово. Тут уж пришлось нам с Пиней встать и выгораживать подписантов.

– Ну, какие выговоры? Они же не со зла...

Тем и закончилось это странное собрание, первая в моей жизни проработка, которая не только не лишила меня моей телячьей наивности, а, наоборот, укрепила в ней.

Много-много лет спустя, уже после того, как возникло и прогремело так называемое «дело Синявского и Даниэля», после того, как их осудили на разные сроки, и они отсидели свое, и Синявский эмигрировал, я прочитал в его воспоминаниях, как в том же университете, на том же филфаке и чуть ли не в той же «Комсомолии» примерно в ту же пору появилась статья о нем под заголовком «На кого работает Андрей Синявский».

Я восторженно – тот же почерк: «Правда о...», «Открытое письмо...», «На кого работает...».

Повод для разбирательства был, кажется, такой же пустяковый, как и в нашем случае... Но кончилось уже и в тот раз для Андрея Донатовича тяжелее...

Я и до сих пор не могу вспомнить, случилось все это с нами до или после того, как в печати было заявлено, что «дело врачей» липовое, другими словами – после смерти Сталина или накануне ее. И соответственно – возникло ли и лопнуло, как воздушный шарик, наше с Володькой дело, скорее дельце, спонтанно, как непроизвольный выброс бурных комсомольских будней, в которые все мы самозабвенно погружались, или это была многоходовая акция, к которой потеряли интерес вместе с кончиной и разоблачением аферы с врачами-евреями.

Спросить об этом наших обличителей ни тогда, ни после как-то не пришло в голову. Хотя один из них, ныне доктор филологии, член-корреспондент от литературы, совсем вскоре отличился еще раз. Шло очередное комсомольское собрание, и на нем то ли задуманно, то ли стихийно возникло так называемое дело Нонны Лубянской, которую обвиняли примерно в тех же грехах, что и Понизовского. Завязалась, однако, вполне натуральная полемика, плюс нашему времени, в который сейчас мало кто соглашается верить, и, как в случае с Володькой, наветы отпадали один за другим. И в тот момент, когда дело совсем, казалось бы, развеялось, над рядами голов (все происходило в расположенной амфитеатром Комаудитории), встал наш будущий литературовед-академик.

– Нонна, – сказал он, терпеливо дождавшись тишины и окинув однокашников многообещающим взглядом, – Нонна сделала, – снова пауза... – аборт.

Слово «аборт» он произнес с ударением на «а». И зал, который, ожидалось, взорвется возмущением, грохнул хохотом. Нонну отпустили с миром, а за ним так и утвердилась кличка – Аборт, с ударением, разумеется, на первом звуке.

Лес рубят – щепки летят

Да, пришлось и мне услышать эту фразу обращенной к себе. От человека, которого тогда я почти не знал, но который с годами, вплоть до его смерти от сердечного приступа, становился мне все ближе и ближе.

Речь идет о тогдашнем главном редакторе «Комсомольской правды», куда Аджубей «устроил» меня, как это формулировалось в «Открытом письме», за полгода до получения мною университетского диплома со значком.

Дмитрия Петровича Горюнова не было тогда на «этаже» – то ли находился в отпуске, то ли в командировке.

И первый раз я увидел его на летучке – еженедельном собрании сотрудников газеты в ее Голубом зале для обсуждения вышедших номеров. И он не произвел на меня впечатления.

Маленького роста, коротко стриженный, на коротких с кривизной ногах, со вздернутым, как у Павла Первого, носом и толстыми губами.

А главное, какой-то, как мне показалось, несолидный. Мне больше импонировал другой главный, с которым я имел дело два года подряд в областной саратовской газете «Коммунист», где в качестве литсотрудника проходил производственную практику. Вот это был редактор. Никто не осмеливался возразить ему. Все, что он говорил, вернее, приказывал, воспринималось как закон и исполнялось беспрекословно. У Горюнова же на летучке был какой-то базар. Так что ему то и дело приходилось призывать к тишине. Его и самого прерывали. И даже, к вящему моему разочарованию, да, да, разочарованию, находились такие, кто позволял себе не соглашаться с ним, на что он реагировал чем-то средним между фырканьем и хрюканьем, что тоже в моих глазах не придавало ему особого веса. Я не понимал тогда, что саратовский редактор просто следовал общепринятому партийному стилю а la Сталин, а Горюнов позволял себе оставаться самим собой.

Приняв это за слабость или нерешительность, я вскоре чуть было не пал жертвой этого заблуждения. Как-то поздно вечером на моем ободранном рабочем столе – я в гулком одиночестве дежурил по отделу – зазвонил телефон. Я приложил трубку к уху.

– Горюнов, – сказала трубка.

Дезориентированный тем, что мы теперь называем демократизмом босса, я в непринужденной манере спросил трубку, что, собственно, ей надо от меня.

– Гор-р-рюнов, – рявкнула она, прежде чем в редакторском кабинете, где мне еще не доводилось бывать, ее бросили на рычаг. Минут через пять, в течение которых я пребывал в некотором недоумении, дверь приоткрылась и показалась голова секретарши редакции Любы.

– Панкин, – сказала она звонко – командным тоном. – Вызывают!

И тут уж я, позабыв мигом все рефлексии, опрометью бросился за ней.

Не помню, о чем мы тогда говорили с Дмитрием Петровичем, вернее, за что он мне выговаривал, но думаю, что я ему в тот вечер не понравился. А возможно, он был недоволен тем, что меня приняли на работу в его отсутствие. Может быть, он подумал, что Аджубей, тогда всего-навсего член редколлегии по отделу спорта, слишком многое себе позволяет.

Так или иначе, в следующий раз он вызвал меня, чтобы объявить... о сокращении.

Стол в редакторском кабинете со стенами, обшитыми деревянными поблескивающими панелями, был такой же необозримый, как сам кабинет, а кресла по обе его стороны были почему-то низкими. Так что, когда мы уселись в них после ритуального рукопожатия, ради которого Д. П., как его звали в редакции, вышел мне навстречу, над лакированной столешницей возвышались только две наших головы. Его уже пересыпанная сединой, моя – всклокоченная, с постылым завихрением на затылке. «Как в кукольном театре», – успел подумать я, прежде чем услышал то, что меня оглушило.

– Вы знаете, что есть указание сократить численность редакции на двенадцать человек, – сказал редактор и издал горлом уже привычный для меня хрюкающий звук.

Я кивнул.

– Мы подумали, перебирали – кого. Нелегкая, доложу я вам, работа. У нас, к счастью, было несколько вакансий. А дальше пришлось резать по живому.

Я невольно поежился, словно нож уже коснулся моей брэнной плоти, и он заметил это. Кажется, смутился.

– Да, выбор пал и на вас. Не будешь же увольнять людей, которые проработали в редакции по десять – пятнадцать лет. А то и больше. А вы человек молодой. – Он сделал паузу. – Способный. У вас все еще впереди.

Я, еще не отдавая себе отчета в том, что подо мною разверзлась пропасть, встал и пошел к двери, до которой от редакторского стола было не близко.

Дело было в конце июня 1953 года. И еще полчаса назад казалось, что все определилось на этом этапе моей жизни. Закончив университет с дипломом с отличием, я был переведен в «Комсомолке» из стажеров в сотрудники. Мне казалось, что это не было формальным, автоматическим актом, потому что за это время я умудрился несколько раз напечататься, заслужить похвалы в сообщениях «дежурных критиков», словом, окорениться...

И вот все это пошло прахом. Ощущение было такое, словно между мною и окружающим меня миром – редакторской приемной с сочувственно взирающей на меня Любой, шестым этажом, как издавна уже называли «Комсомолку», комнатой нашего отдела сельской молодежи, где я как потерянный собирал свои книги и бумаги, опустился невидимый, прозрачный, но плотный занавес... И голоса утешавших меня приятелей доносились откуда-то издалека.

Не помню, что я делал и где я был следующие два дня. Благо жена с тещей успели уже уехать на юг, в приморский колхоз под Адлером, где их семья проводила летние месяцы уже несколько лет подряд. Тесть был в командировке.

Я пытался объяснить самому себе, что, собственно говоря, меня больше всего удручает в создавшейся ситуации: перспектива огорчить жену, которая, ничего не ведая, ждет меня у моря, или необходимость искать работу через полтора месяца после окончания университета, где второй раз моим распределением заниматься не будут.

Уверив себя, что двери саратовского «Коммуниста» для меня всегда открыты, я решил, что и жене ничего пока говорить не буду. Совру, что не могу сняться с места из-за важного редакционного задания. А там видно будет.

Утром третьего дня раздался телефонный звонок, и я услышал в трубке:

– Слышь, папа...

Детей у меня тогда еще не было, и я понял, что это обращение к моему коллеге в отделе сельской молодежи Юрке Фалатову. В редакции было принято называть друг друга «старик». Фалатов отличался тем, что адресовался ко всем, даже к особам женского пола, например к моей жене, – папа.

– Папа, – говорил он ей, когда она звонила в редакцию, что случилось частенько, – ты старика не занимай. Папа у главного.

Послушать Юру, я дневал и ночевал в кабинете Горюнова, в который меня как раз не очень-то приглашали.

– Слышь, папа, – повторил теперь Фалатыч, словно обрадованный тем, что я откликнулся. – Ты где гуляешь? Мы тебя второй день с Илюхой ищем. Дуй в редакцию. Тебя Горюнов вызывает.

Через полчаса я уже сидел снова в знакомом кабинете. Одна голова по ту, другая по эту сторону стола.

– Вот что, – с тем же прихрюкиванием сказал Д. П., не вдаваясь в объяснения. – Как говорится, лес рубят, щепки летят. Меня тут третий день ходоки осаждают. – Тут он пристально

посмотрел мне в глаза, словно пытаюсь угадать, не я ли организовал их наплыв. – Короче, – словно бы рассердившись на самого себя за многословие, закруглил он свою отнюдь не продолжительную речь, – идите и работайте. И уже вслед моей спине добавил: – Только не в сельский, а в комсомольский отдел. . .

Я спорить не стал. Я уже понял, в чью пользу говорит разница между тем, саратовским редактором, и этим, в «Комсомолке».

Илюхой, которого назвал по телефону Фалатов, был Илья Шатуновский, в то время фельетонист «Комсомолки», унаследовавший должность, а там и славу перешедшего в «Правду» Семена Нариньяни, который эту перемену в своей жизни объяснил здоровьем, вернее нездоровьем:

– Какое здоровье? Половину мочи врачам отдаю.

Это Шатуновский с Фалатовым да еще Володя Чачин, Морячок. . . как его звали на этаже, инициировали петицию Горюнову и тем надолго предопределили мою судьбу.

Догадывались ли они тогда, что им еще придется послужить под моим началом? И если бы догадывались, не отказались ли от своей затеи?

Двое из «комсомолки»

Прозвище у Фалатова было Самородок. Молва утверждала, что нашел его Шелепин, в ту пору первый секретарь ЦК комсомола, в недалеком будущем – член президиума и политбюро ЦК КПСС, последовательно – секретарь ЦК, заместитель председателя правительства, председатель КПК, то есть Комитета партийного контроля, председатель всесоюзных профсоюзов, кандидат в Бонапарты, вошедший в историю как Железный Шурик. Вот он-то, Железный Шурик, и был крестным отцом нашего Юры. Он наткнулся на него в одном из колхозов Владимирской области, где двадцатилетний Фалатов, «освобожденный» секретарь колхозного комсомола, поделился с ним своей мечтой стать писателем и показал несколько опусов, опубликованных в областной молодежке.

Недолго думая, Шурик посадил его в машину и привез в Москву, прямо на улицу «Правды», к Горюнову.

Тогда в моде были такие жесты. Как в одну, так и в другую сторону. То же вольное или неосознанное подражание эффектным жестам Сталина. Несколькими годами позже, уже после смерти вождя, Шелепин так же привез Горюнову заместителя – Юру Воронова из Ленинграда, где тот работал редактором «Смены». В Юре примечательным было, во-первых, то, что он был блокадником – подростком прошел всю блокаду. Похоронил родных. Получил медаль «За оборону Ленинграда», о которой позднее сказал в стихах: «Нам в сорок третьем выдали медали, и только в сорок пятом паспорта». Во-вторых, он оказался самым молодым замом в «Комсомолке» за многие годы. За что и подвергся поначалу остракизму со стороны ветеранов. То, что Юра, в-третьих, еще и поэт, выяснилось, только когда он уходил из «Комсомолки» в «Правду». Но это уже особая статья.

Фалатов вошел или, если хотите, взошел на шестой, тогда еще неведомый мне этаж, как домой. Талант его был не в том, что он писал милые зарисовки, которые он назвал, окая повладимирски, «отчерками» – обязательно с диалогами, с прямой речью, о хороших колхозных ребятах и девчатах, – а в его способности сходиться с человеком с полуслова.

Кто бы ни заглядывал в нашу комнату отдела сельской молодежи, оказывался лучшим другом Фалатова.

Алексей Колосов, очеркист «Правды», чье имя мы, салажата, произносили со священным трепетом, приносил ему с пятого этажа сырые правдинские полосы, сверить что-то из деревенского обихода. Помню, как он читал ему, а заодно и мне, вложенные в уста одного из героев вирши:

Клавишкой ударяя,
Распрекрасную прельщу;
Маргаритка молодая, ах,
Со всею страстию люблю.

Исполнитель этой песни представлялся мне похожим на самого Алексея Ивановича: коротышка в замшелой непонятого цвета куртке, в мятых бесформенных штанах, похожий на доброго лешего.

Совсем не то, что можно было бы представить, читая его очерки в «Правде». Габаритного Фатьянова, владимирца, земляка Фалатова, автора моей любимой «Хороши весной в саду цветочки», Юра в третьем лице звал Фатьянычем и никогда не упускал случая стрелкнуть у него трешку: на той неделе зарплата...

Да бог ты мой, с кем только не познакомился я в этой комнате благодаря Юре за те месяцы, пока кантовался в сельском отделе. Да и позже. «Папой» немедленно оказался у него

Тендряков, когда встретили его в толпе гостей, приваливших по указанию Хрущева в село Мальцево Курганской области, к Терентию Семеновичу Мальцеву.

Там же был тогда и Овечкин, который оказался единственным, к кому Юра обратился по имени и отчеству:

– Валентин Васильевич...

– Во-первых, не Васильевич, – немедленно отбрил его Овечкин.

– А как же? – разинул рот от неожиданности Юра.

– Знать надо... как Овечкина зовут, – завершил беседу Валентин Петрович.

Мансарду, в которой Юра жил во время подаренной ему начальством командировки в Ханой, Юра называл Массандрой, а ближайший к редакции Савеловский вокзал – «Савелием». Строго говоря, это относилось даже не к вокзалу, а к его ресторану, где обитатели шестого этажа ритуально встречались, чтобы дать отвальную или обмыть гонорар.

Фалатов с удовольствием нырял туда и без повода. Трудно было представить себе наш этаж без движущегося по нему вразвалочку Юры, сбивающего стаю для похода к «Савелию». Как-то застал его за этим занятием Аджубей, ставший к тому времени уже главным. В отличие от Горюнова, который предпочитал подняться в лифте, что был ближе к его кабинету, Алексей Иванович обожал пробежаться, с неизбежными остановками на пути, по длинному коридору: себя показать и на людей посмотреть.

– Юра, – спросил Аджубей, наткнувшись при одной из таких пробежек на группку спецкоров, деловито подсчитывавших перед экспедицией к «Савелию» свои скудные ресурсы, – не думаешь ли ты, Юра, что в твоём возрасте и с твоим опытом и мастерством можно было бы уже подумать и о более серьёзной, взрослой газете?

– Да ить, папа, пока и отсюда не гонюють, – невозмутимо отвечивал Фалатов, продолжая ворошить указательным пальцем правой руки лежавшие на ладони левой мятые руб левки.

И Аджубею, который ещё пару лет назад сам с удовольствием принимал участие в экспедициях к «Савелию», оставалось только незаметно слинять.

Он был общеизвестным сердцеедом, Юра Фалатов. Хвастался, что перед ним ни одна не устоит, и однажды поделился со мной глубокомысленным заключением, что, мол, эти-то самые – он, разумеется, назвал вещи своими именами – «у них у всех одинакие». Так было до тех пор, пока не пришла к Юре великая любовь, которая перевернула всю его жизнь. Обрелась эта до поры до времени не признанная им любовь на седьмом этаже комбината «Правда», звалась Ниной, или, на Юрином языке, Нинкой, хорошо, что хоть не «папой», и работала завзавлом правдинской столовой. Время она проводила в силу этого своего высокого положения в основном за кулисами, откуда доносились звоны посуды и запахи борща или соуса к котлетам, но иногда, при достаточном скоплении особ мужского пола, появлялась среди столиков с подносом или чайником в руках, и тогда можно было полюбоваться её статной фигурой, очертаниями литых бедер под спускавшейся до половины колен юбкой и светло-шоколадной косой, выстроенной на голове в форме короны. Прямо как полвека спустя у Юлии Тимошенко. Ни взгляды наши, ни реплики нимало её не смущали. Она любого могла отбрить и делала это с видимым удовольствием:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.